



Сергей
ЮРСКИЙ

Игра в фриззлы

Сергей Юрский

Игра в жизнь

«Издательство АСТ»

2008

Юрский С. Ю.

Игра в жизнь / С. Ю. Юрский — «Издательство АСТ», 2008

Знаменитый актер и режиссер Сергей Юрский известен и как талантливый писатель, автор одиннадцати книг прозы и поэзии. «Игра в жизнь» – не автобиография артиста. Скорее это документальная повесть о людях, живших и творивших во второй половине XX столетия. «Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях. Это ещё наш быт того времени, наша повседневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю...»

© Юрский С. Ю., 2008

© Издательство АСТ, 2008

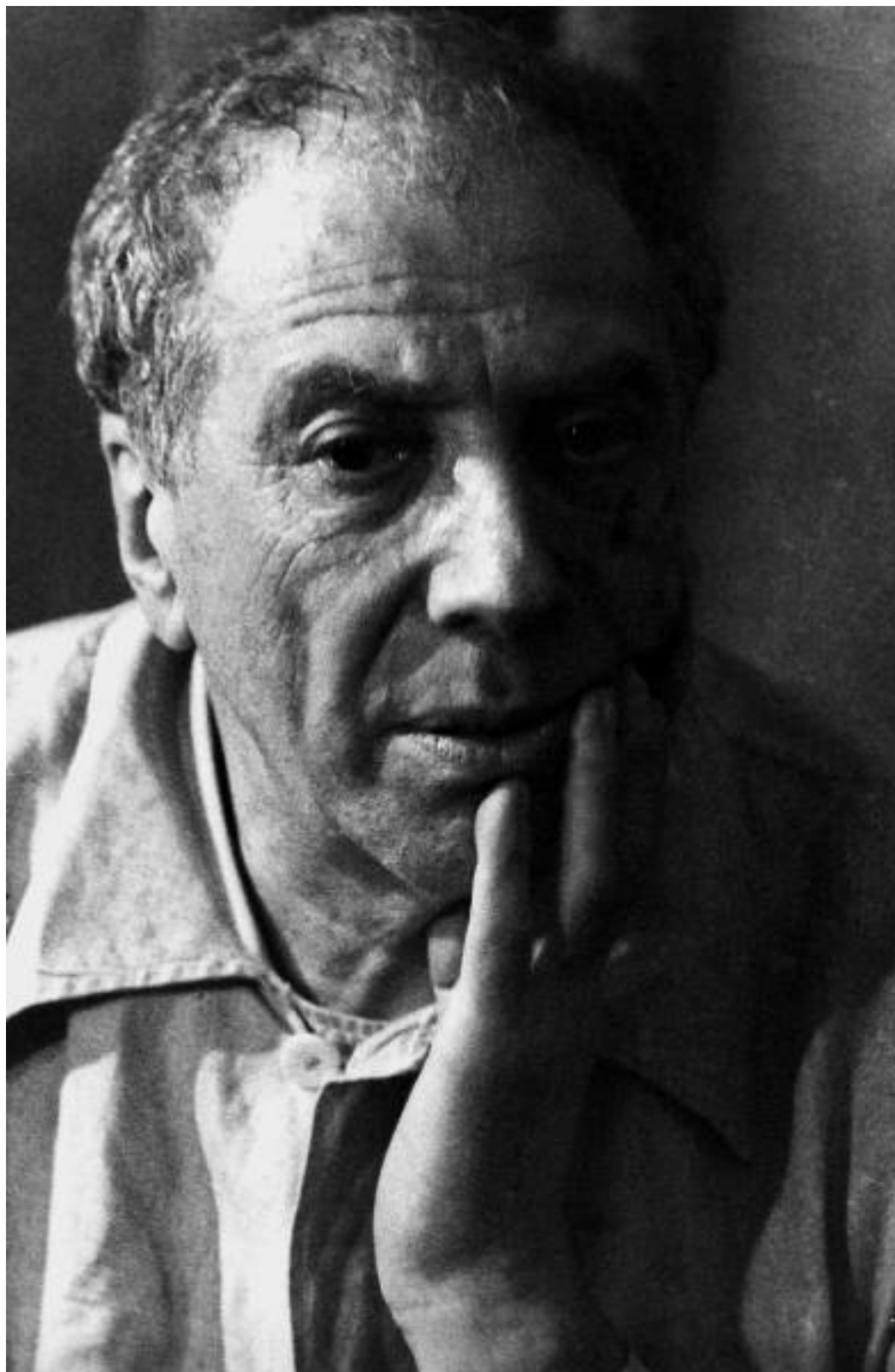
Содержание

Другая жизнь	5
Западный экспресс	8
Москва – Смоленск	9
Смоленск – Минск	13
Минск – Брест	18
Брест. Стоянка	20
Брест – Варшава	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сергей Юрьевич Юрский

Игра в жизнь

Другая жизнь



Уже привыкли. Я ставлю сегодняшнюю дату – 2 августа 2008 года – и не удивляюсь, что номер года начинается с двойки. Еще совсем недавно нужно было сделать усилие, столь долгая цепь дней принадлежала Времени, которое начинается с единички. Ну что ж, нумерация – это всего лишь выдумка людей. По-прежнему восходит и заходит солнце, и Земля, поворачиваясь, летит в бесконечном пространстве.

Век наползает на век, и провести границу между ними почти невозможно.

И все-таки миллениум – смена тысячелетий – оказался чертой весьма определенной. Оглянемся. Именно в эти новые годы с ног на голову перевернулись понятия ценностей и возможностей, допустимого и необходимого и даже жизни и смерти. Были и раньше самоубийцы, были камикадзе, были чудовищные акты агрессии, но ничего подобного тому, что совершила Аль-Каида 11 сентября 2001 в городе Нью-Йорке, не было и быть не могло. Дело не только в масштабе подготовки и использовании невероятных благ цивилизации, дело в смене психологии. И это не был нарыв, который взорвался, облив гноем ограниченный участок, это была болезнь, которая не прошла. Теперь почти ежедневно в разных точках мира выходят на свою немыслимую работу смертники, убивающие людей. Привыкаем видеть это на экранах последних новостей телевидения. Бывали паводки, наводнения, ураганы – бывали! Но нынче все чаще мы слышим: бедствия такого масштаба не зафиксированы за все время наблюдений.

Речь не только о катастрофах. На наших глазах свершились события, реализовавшие то, что казалось романтическими мечтаниями: Европа объединилась, исчезли границы, у Европы единые общие деньги. Это часть того, что называется глобализмом – наш коллективный разум все обустроит, заткнем все дыры, в которые лезет беда. Одни скинутся, другим поможем, туда пошлем продовольствие, туда пошлем войска. Все учтено, все подтверждено миллионами страниц документов. Сейчас соберемся, примем решение и сделаем так, что станет лучше. Это говорят высокие государственные люди и ищут укромное местечко на Земле, чтобы спокойно поговорить и всем помочь. Но нет на Земле такого укромного местечка! В любую точку стекаются тысячи и тысячи антиглобалистов – тех самых людей, которым государственные умы хотят помочь. У антиглобалистов откуда-то имеются и время, и средства, и энергия гоняться по миру за государственными умами, жечь машины, бить стекла, кидать камни, получать по голове дубинками. Видимо, у них своя правда. Может быть, государственные умы не очень умные и что-то не то придумали? Но вот их переизбирают, и это уже другие государственные умы, и вот опять делят миллиарды, и опять антиглобалисты заранее съезжаются туда, к черту на кулички, и заранее протестуют против всего, что только собираются решить новые государственные умы. Господа, кабы не была это наша жизнь, то какая была бы смешная комедия!?

Ну, это мир шумит, а нам-то что? У нас своя огромная страна со своей историей, своими понятиями, мы ищем свой путь, еще не совсем нашли, но ищем. Мы вообще сами по себе. У нас такие возможности открылись, такие перспективы, такие новые люди объявились, что уже никого и ничего не узнать. Но вот только почему-то и нас зацепляет этот глобализм в окружающей действительности и антиглобализм в сознании. Душой мы полностью в своем, исконном, в душе нам чем-то даже близки эти, которые жгут машины и камни бросают, потому что больно противны те, которые миллиардами ворочают. Но почему-то сами стремимся к этим миллиардам, да уже и сами ворочаем подобными же. До ужаса любим мы свою природу, но бесконечно мотаемся к чужим, глобальным, ненашенским пейзажам. Так ценим свой могучий язык, свою плавную речь, созданную для добротной беседы, а общаемся почти исключительно с помощью эсэмэсок (надо же такое выдумать!). Автомобили у нас немецкие (или какие угодно, только не русские), картошка у нас израильская, яблоки (!) испанские, только чечевица (кажется?) своя (для похлебки?).

Пластика у людей изменилась. Теперь уже окончательно частью тела стал мобильный телефон. Значит, основная поза – и на работе, и в ресторане, и в лифте, и на любовном свидании, – рука прижата к уху, как при воспалении, глаза вперены в пустоту, рот непрерывно (и очень громко) говорит.

Виртуальность общения через Интернет... Стоп! Я останавлиюсь, ладно? Просто сделаем вывод, что как-то вдруг прояснилось, что в этом тысячелетии и мир новый, и жизнь другая.

Почтенные и глубокоуважаемые читатели! (Это не формальное обращение! Теперь человек читающий или хотя бы открывающий книгу заслуживает особого внимания и особого отношения.) Потому повторю с полной искренностью:

Почтенные и глубокоуважаемые читатели!

«Игра в жизнь» написана в прошлом веке. В самые последние годы девяностых. Это не автобиография артиста. В какой-то мере это исповедь, в какой-то документальная повесть о людях, живших и творивших во второй половине XX столетия, а судьба свела меня со многими выдающимися художниками. Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях.

Предисловие, которое вы читаете, озаглавлено – «Другая жизнь». Так оно и есть, я убеждён в этом. Сейчас мы живём в другом времени, в других измерениях. Рождается новое поколение – те, кому сейчас пять, шесть, семь лет. Это наши дети и внуки. Я вижу, что они другие. Смотрю на них с тревогой и надеждой. Они наши потомки, но у них другое начало, другие корни, они никогда не были СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ. А мы были советскими людьми. Мы жили во время великих строек и великого страха, нужды, тесноты, запретов, ограничений, но при этом взлетов духа, давших великие произведения искусства. На сером фоне мнимого социализма блистали и радость, и юмор, и любовь, и братство, и бескорыстие.

Мы с вами, дорогой читатель, люди XX века, хотя живем уже в XXI. И всё, что происходит с нами теперь, родилось тогда в Советском Союзе и в первые годы перестройки. Те, кто хочет вернуться туда (а таких немало?!), – люди без памяти, или просто без мозгов. Тот, кто хочет забыть, откуда он, отрезать прошлое, – наивен и опасно недалёковиден. Вот представьте – огород. Растут огурцы, растет морковь. Огурцы сверху их срывают и не думают о корнях, о том, что их там, в земле, питает и как. А морковь – она сама там, в земле. Всё, что наверху – просто зелень, а плод – под поверхностью. Так вот мы – морковь, а поверхность – черта миллениума.

«Игра в жизнь» никак не означает отчаянной рулетки, или гусарской лихости, хотя среди моих героев на сцене и на экране были и такие. «Игра в жизнь» – это сплетение реальности и того концентрата чувствования этой реальности, который превращается в спектакль или в фильм. И кроме всего, это еще наш быт того времени, наша повседневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю. Ностальгии у меня вовсе нет. Но ведь мы – нынешние, мы целиком оттуда, из ушедшего XX века. Надо копнуть, надо достать «морковочку». Это даже не наши корни, это мы сами и есть.

Готовя новое издание книги, я спрашивал себя: не поведать ли, что происходит сейчас, что играю, кто с нами играет, что вижу со своей колокольни? Не попробовать ли? Но отказался от этой затеи. Другая жизнь и другие игры. Об этом говорить надо отдельно. А эта книга пусть так и останется повестью о моем XX веке.

Западный экспресс

Это был поезд из моего сна, из детской мечты, из тайных одиноких игр, когда, преодолевая *скуку* жаркого летнего дня и длину обязательного надоевшего пути по лесной тропе, сам был и паровозом, пытящим устало, и машинистом, неутомимым и суровым, и начальником всех станций, и местным мужиком, покорно пережидаящим на солнцепеке у шлагбаума пробег длинного состава, и пассажиром, наивным и восторженным, которому всё в новинку, который глупо и симпатично радуется названию каждой станции, любому перелеску, каждому мостику над неширокой речкой, стаду, прилегшему устало, копнам сена под легкими навесиками, двое-нию, троению, умножению рельсов на подъезде к большой станции и несравненному перестуку колес, под который все песни хорошо поются и щемят душу, а все мысли легчают и уносятся сквозь щель в окне вместе с кудрявым дымком от паровоза. Это был поезд из моего сна.

Весной 89 года я ехал в одиночку через Европу.

Москва – Смоленск

Влюбленность в железную дорогу охватила меня еще в раннем детстве и не иссякла до конца по сию пору. Поезда нравились мне на слух и на вид, на осязание и на запах. Все служащие на железной дороге казались мне счастливыми. Я помню зеленую подмосковную станцию Битца. Даже не станцию, просто платформу с деревянной будочкой кассы.

Битца! Теперь это район Москвы. А тогда это была деревня, и до нее нужно было добираться поездом. Не электричкой – электрички появились позже, на моих глазах, а поездом – с паровозом, который пыхтел, гудел и тащил дребезжащие дачные вагоны. Кондуктор выкрикивал: «Люблино, Люблино!.. Царицыно! Кто до Царицына?.. Красный Строитель!.. Следующая – платформа Битца!.. Битца, следующая Бутово!» – это я слышал, стоя уже на платформе вместе с мамой. Мы пересчитывали привезенные вещи – не забыли ли чего, – а вагоны лязгали буферами, со скрежетом делали первые обороты колеса, и поезд уходил в далекое Бутово.

И как я завидовал всем, кто ехал дальше – на Бутово, Щербинку, Подольск и (страшно и сладко произнести!) в далекий Серпухов!.. Мне девять, десять, одиннадцать лет.

1944-й, 45-й, 46-й годы.

Долго, долго моей самой любимой книгой были «Правила движения поездов по жезловой системе» – они относились к железной дороге еще досветофорного времени. Именно на этой книжке воспитался мой консерватизм. Мне было жаль, что жезловая система отмирает и на путях ставят семафоры, а потом и светофоры. Как это примитивно: красный – нельзя ехать, желтый – скорость 16 км/час, зеленый – можно ехать. И всё! И нет собственной инициативы, нет этой ловкости, когда на ходу, свесившись с подножки, помощник машиниста накидывает жезл на руку дежурного по станции, а тот отдает ему другой, как эстафету, как победный символ права на движение, и начинается новый перегон.

Здесь, на железной дороге, работают самые ловкие, самые ответственные люди. Единственные, кто на них похож, – воздушные гимнасты в цирке. Там тоже полет трапеции рассчитан до долей секунды. И рассчитан не машиной, а человеческим опытом и талантом. Если чуть скорее или совсем чуть-чуть медленнее, ловитор промахнется и гимнаст полетит в бездну на глазах ахнувшей толпы.

Ритм, создаваемый многими людьми, идеально чувствующими друг друга, – вот что такое железная дорога. Две полосы железа, обозначающие бесконечность, один божественно прекрасный, совершенно живой механизм – паровоз и множество слаженно, нарядно, балетно трудящихся людей! Пассажиры нужны только как публика, восхищенно, благодарно аплодирующая этому ансамблю солистов.

...И шло лето. С патефоном в соседнем дворе, с фокс-тротами, доносящимися из-за забора. Синее платье в белый горошек, обтягивающее внезапно округлившиеся за последний год формы хозяйской дочки. Чего это она стала такая озабоченная? Куда это ее несет каждый вечер на каблучках, проваливающихся в глинистую землю? Ни на мое: «Привет! Чего это ты нарядная такая? День рождения, что ли?», ни на запоздалые крики из окна ее матери – тети Нюры: «Чтоб как стемнеет, дома быть, а то смотри!» – даже не оборачивается. Едкий дым из самоварных труб, набитых щепочками и сосновыми шишками. Мелкая речка с густым кустарником на высоком песчаном правом берегу, где местная подрастающая шпана всегда караулит меня, чтобы избить за то, что «когда в то воскресенье с отцом твоим на откосе купались, собаку на нас натравливал», а у меня и собаки-то никакой нет, у соседей есть Рекс, так он на цепи сидит.

И опять – лучше нет, как уйти из-под маминого надзора, миновать обходом опасные кусты, где шпана притаилась, вброд через речку за отмель – на тот берег, потом топким лугом

до большой пыльной дороги с колючим гравием и уж по ней – мимо длинных сараев и насосной башни – до долгожданной надписи на дощечке, прибитой к столбику, – БУТОВО.

Тут не просто платформа – тут станция. Пути разветвляются. Стоит маневровый паровоз серии «Щ». Сидит машинист – виден в окошко, – неподвижно сидит и смотрит как полоумный в одну точку – перед собой и немного ниже. То ли книжку читает, то ли спит с открытыми глазами. Паровоз слегка попыхивает, отдувается, а машинист сидит и не шевелится. А я стою у сарая за пустой заросшей колеей и смотрю снизу вверх, ожидая сам не знаю чего. Какой-то высшей милости. Какого-то снисхождения. Я и не надеюсь, скажем, быть позванным и влезть в вожаемую чумазо-зеленую будку. Я смутно надеюсь лишь на то, чтоб быть замеченным, чтоб образовалась хоть какая-то связь... чтоб прекратилась эта неподвижность и что-нибудь сдвинулось с места... Машинист поднял бы глаза, повернул голову и подумал: вот стоит у сарая мальчик... чего он тут стоит? Лучше бы подошел да помог мне подержать какой-нибудь рычаг, а я в это время поверну колесо реверса, потому что помощник на фронте, а одному справляться трудно. И он крикнул бы: «Эй, пацан!..» Дальше я не пускаю свое воображение, ибо все, что дальше, просто немыслимо.

Проходят часы, и солнце, покраснев еще больше, совсем по-июльски и уже по-вечернему начинает скатываться к угольным холмам, норовя сесть на трубу дальней котельной. Проходят поезда по основной линии – и товарные, и пассажирские – на Курск, на Харьков, на Ростов... Но я не изменяю своему паровозу. Пусть он сейчас неподвижен, пусть этот маневровый составившийся красавец «Щ» ничего не сманеврировал за целый день, пусть дома мне будет серьезная баня за исчезновение до самого вечера, но моя верность будет вознаграждена... пусть не сейчас... пусть потом...

– Ты здесь чего ошиваешься? – раздается слева, и я с трудом поворачиваю голову на затекшей шее. Какой-то охранник в полувоенной форме и с ружьем движется вдоль сарая.

И тут же начинается движение возле паровоза. Идут какие-то двое и, страшно и грязно ругаясь, обращаются к машинисту, а тот – мой будущий друг, моя надежда – отвечает им тем же. Паровоз начинает шипеть громче. Все трое орут и размахивают руками, а охранник с сонным, опухшим лицом закуривает самокрутку и, наглотавшись дыма, выпускает его из гнилозубого рта в мою сторону и вместе с дымом рычит что-то угрожающее. Я отбегаю к углу сарая и сворачиваю к штабелям вперекрест положенных маслянистых шпал и мимо них дальше, к большой дороге, к дому.

Эту бессмысленную картинку вспоминаю я через много лет, когда в газетах пишут о страшном расстрельном и похоронном месте БУТОВО, где тысячи были положены во рвы, куда привозили живых, чтобы сделать их мертвыми, и мертвых, чтобы они исчезли с лица земли. Это началось еще перед войной, но продолжалось тогда, где-то близко от тех черных холмов, и в 44-м, и в 45-м, и после Победы.

А Победа... Победа была славная. Правда! Это правда, не выдумки... я свидетель. Все что-то дарили друг другу, даже незнакомым. Даже в наш отгороженный от мира островок Цирка на Цветном бульваре пришли подарки. Нам подарили два противогаза, пистолет и несколько толстых – ртом нехватишь – плиток горького американского шоколада. Кто подарил – не знаю. Кому – не помню. Кому-то из цирковых детей. И счастливчик, не в силах употребить это сам и не смея показать родителям – нравы в цирке были суровые, а порой и жестокие, – вынес это на задворки нашей территории, за угол конюшни.

Именно 9 мая 1945 года часов в 11 утра мы отметили Великую Победу, выстрелив по разу из пистолета в консервную банку и ни разу не попав (отдача сильная, и пистолет дергался в руке у каждого). Стреляли на улицах много и радостно, палили в воздух, и потому наши скромные салюты не привлекли внимания. Потом мы разобрали на части противогаз. Когда добрались до сеток фильтров, ахнули от восхищения – потрясающие вещицы! Совершенно ни

к чему не приложимые, но потрясающие! Сыграли в пристеночек – слышали про такую игру? Ставкой были останки противогАЗа.

Кто выиграет – тому фильтры, второе место – раздолбанный корпус, третье – ребристый шланг. Второй же (пока целый) противогАЗ и обе страшные резиновые маски со стеклышками для глаз по праву достались в распоряжение первоначальному владельцу.

И наконец, шоколад! Даже Петька Володяев, сын дворника, даже Петька с его громадным ртом и крепкими, как клещи, зубами не смог ни куска откусить от этого шоколада. Били плитку о камень, и тоже без результата, только запачкали. И тогда Ленька Плинер (мальчик-акробат труппы «Плинер – икарийские игры») сбежал в гардеробную (она же мастерская, где чинили аппаратуру) и принес гибкую злую пилу – ножовку. Отпилили пару квадратов и настругали немного крошек. Шоколад был отличный. Полыхало во рту незнакомым вкусом. Американским. Это после лакомств военных лет – черных комочков вара, как жвачка, или жмыха, внешне отдаленно напоминавшего довоенные вафли.

Вечером, кажется, вся Москва толкалась и целовалась на Красной площади. Но это было уже слишком многолюдно, монотонно и пьяно. Бесконечные залпы салюта под крики толпы. Но к салютам (почти ежедневным) уже привыкли за последний год. То тут, то там подбрасывали в воздух военных – качали и славил. Подбрасывали штатских. Подбрасывали женщин – те визжали. Подбрасывали пилотки, шляпы, бутылки, детей... и выше всего взлетали бесчисленные и беспорядочные ракеты. Ноги болели – находились ноги, и еще оттоптали их в темноте солдатскими сапогами. Глаза закрывались от усталости. Но в толпе бродило шепотом: *Сталин*. Сталин скоро выйдет на Мавзолей. Вставали на цыпочки, тянули шеи – может, выйдет, может, увидим, ах, если бы! *Ура-а! Ура-а-а!* Вот, это он!.. Нет, показалось. Да не дави ты так, держись на ногах, ребят подавишь! Вот, вот – прожектор уперся белым снопом света в трибуну. Сошлись. Ничего не разобрать! *Товарищу Сталину ура-а-а!* Навались! По-о-о-шли побли-и-и-же, а то не увидим. Жми-и-и! Ох, повалился целый ряд. Осторожней вы, женщина поранилась. Помогите-е! *Ура-а! Товарищу Сталину ура-а-а!*

Не повезло. Не довелось увидеть Сталина. Но можно было вскидывать вверх портреты, и вглядываться в родные черты, и размазывать по щекам неудержимые слезы восторга и благодарности за Победу!

Тем же летом мы снова ехали в Битцу. Вагон набит битком. Шумно. Много веселых и пьяных. Отец и мама тоже веселые. Едим какие-то вкусные пирожки из корзинки и угощаем соседей. И нас угощают – яблоками, что ли? Или огурцами. Два пьяненьких солдатики, оба с хриловатыми пронзительными тенорками, постепенно становятся центром внимания. Они и сами чувствуют себя как на сцене. У них уже не разговор, а диалог – для публики. Они подают реплики, и вагон дружно их принимает.

- Были бы валенки, не пили б по маленькой!
- В Азии, в Европе ли всю одежду пропили!
- Ух! За ваше здоровье, Степан Алексеевич!
- И за ваше, Андрей Степанович!
- А чего это у вас, Степан Алексеевич, медалей мало?
- А грудь худая, вешать некуда. А мядали, они у меня усе у ранце спрятаны.

Ой, как хохочет вагон. И солдатики довольны успехом. Выпивают, раскрасневшись. Точь-в-точь картинка с обложки книжки «Василий Теркин».

Как все славно, будто всем вагоном в одни гости едем. «Люблино! Люблино дачное! Люблино-депо остановки не будет! Следующая Царицыно!»

– Устали вы, воевавши, Степан Алексеевич, что ж вы едете-то с Москвы? Там теперя самое хорошо, в Москве-то. Всем, кто воевал, награды будут давать.

– Э, Андрей Степанович, а сами-то вы чаво тогда с Москвы драпаете, как фриц? Вот и получали бы наградку – мядалек, да поболе.

– А это я вас провожаю, Степан Алексеевич. А после вернусь в Москву, приду к товарищу Сталину и скажу: вот я весь отвоевался, и ничего мне боле не надо, а дайте мне что положено. А что положено, то вы сами знаете. А товарищ Сталин положит мне руку на темя и скажет: отдыхай, Андрей Степанович, теперь отдыхай, а после разыщут тебя и что положено, не сомневайся, вручат.

У всего вагона слезы на глазах, и у артиста на ресницах блеснуло. Умиление. А второй тенорек похрипывает:

– Нет, Андрей Степанович, товарищ Сталин сперва положит тебе руку на темя, а потом маленько придавит, а потом и вовсе пригнет тебя и скажет: повоевал ты, ну и правильно, а теперь я тебя так согну, чтоб вспомнил ты, кто ты есть, и знал свое место.

Только теперь стало слышно, как стучат колеса, как дребезжит расхлябанное стекло в окне тамбура. Все разговоры смолкли, и тихо стало в вагоне. И все смотрят, а не видят. Внутри себя каждый смотрит и не знает, как ему поступить. Это страх. И в меня он проникает, хотя я не вполне понимаю, что, собственно, произошло. Но что-то произошло. Сидит Степан Алексеевич с открытым ртом и никак закрыть его не может. Не то что-то сказал артист. Провалился спектакль. Вернее, не спектакль, а провалился зрительный зал, вагон то есть, провалился в какую-то дыру молчания и тоски.

«Царицыно! Царицыно Дачное! Следующая Красный Строитель!»

Ух, как пошел народ на выход. Смотри-ка, это, оказывается, все почти до Царицына ехали. Впереди еще Битца, Бутово, Щербинка, Подольск. Нет, смотри-ка, все в Царицыне сошли. Осталось несколько человек всего. И одинокие солдатики.

И мы с папой-мамой в углу. Только отец тоже сидит какой-то странный. Почесывает то голову, то бородку, плотно губы сжал и смотрит в окно... Мы идем по пыльной дороге к деревне, и еще издали слышно – патефонный голос поет:

Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке,
Сразу жизнь становится иной.

Я очнулся от тяжелого короткого сна. В купе было душно, и подушка была совершенно мокрая. Мое путешествие в Европу началось. Поезд подходил к Смоленску.

Смоленск – Минск

В семидесятые, самые застойные годы, я вдруг стал писать. Прозу. И не статьи, не рассказы, а сразу целые повести. В стол. Без всякой надежды опубликовать и – клянусь! – без малейшего желания их кому-нибудь показывать. Несколько лет они пролежали даже не напечатанные на машинке, а просто в тетрадках, исписанных от руки. Я был слишком занят. Родилась дочь Даша. Начались серьезные трения с руководством города (мы жили тогда в Ленинграде), многое говорило за то, что появился ко мне нездоровый интерес КГБ. При этом я много играл в театре в постановках Г.А.Товстоногова. Впервые стал всерьез заниматься режиссурой. Поставил «Фиесту» Хемингуэя, «Избранника судьбы» Б.Шоу, «Мольера» Булгакова, «Фантазии Фарятьева» А.Соколовой.

Очень много выступал с концертами. Сделал несколько больших моноспектаклей.

С середины семидесятых начались запреты. Сперва они касались работы на радио и телевидении, потом перекинулись на кино и, наконец, охватили плотным кольцом всю мою деятельность, а значит, и жизнь. Но об этом позже.

Была такая забавная поговорка: «Писатель, если его не издают, может писать в стол. Артисту хуже – если его не выпускают к зрителю, он может сыграть только в ящик». Так вот, видимо, чтобы не сыграть в ящик, я стал писать в стол. И главным своим произведением (казалось, совершенно непроходимым) я считал повесть «Чернов». Повесть была о страхах – мелких и крупных, об оскудении души в душной атмосфере застойного быта, о подмене и раздвоении личности в условиях тотальной слежки тоталитарного режима.

Герой повести раздваивался буквально – на талантливого, некогда даже выдающегося архитектора Александра Петровича Чернова, тянущего лямку все более тусклой и неустроенной жизни, и благополучного, ничем не обремененного и очень богатого «западного» человека – господина Пьера Ч.

Герой и его фантом почти во всем были противоположны. Связующей, скрепляющей их неразрывное единство была тяга к поездам. Чернов заполнил свое холостяцкое жилье гигантским макетом, в котором бегали паровозики, вагончики, составчики по разным замысловатым, отлично выполненным рельефам. А Пьер Ч. спасался от пустоты жизни в купе комфортабельного трансъевропейского экспресса, который катился и катился через Европу, и, кажется, пути этому не было конца.

Как и мой герой – Чернов, – я был тогда невыездным, как у него, у меня был за границей друг, с которым я продолжал поддерживать контакт, но был полон страхов – обоснованных и мнимых. Путешествие в экспрессе господина Пьера Ч. было тогда тайной мечтой – Александра Петровича и моей. Он ехал через Вену, Женеву, Милан, Брюссель, Гаагу... – города, которых я никогда не видел, и твердо понимал в то время, что никогда их и не увижу.

Железная дорога прихотливо вилась между странами, границы которых были так легко преодолимы с хорошим паспортом богатого пассажира. Все заграничные подробности путешествия возникали в моей голове из скромных школьных знаний географии и некоторой начитанности. А больше всего из фантазии, в то время почти болезненной. Мне нравились звучные названия: Амстердам, Антверпен, Люксембург, Копенгаген (как я был изумлен, когда через много лет, попав наконец в звучный *København*, я узнал, что *гаген* – это измененное *хавн*, то есть гавань, а все вместе – *Копенгаген* – торговая гавань. И только! И никакой мистики).

Трансъевропейский экспресс в моей повести упирался в море, там кончались пути. Еще одно великолепное название – Барселона. Там и обрывалась железная дорога. Там обрывалась и жизнь обоих персонажей.

Кажется, я перепутал Барселону с Лиссабоном – вот где действительно океан и конец Европы. Но я не стал поправляться. Мне было важнее, что в слове БАРСЕЛОНА на один слог

больше, чем в ЛИССАБОНЕ. Да и потом, для меня (для всех нас!) и то и другое было так бесконечно далеко и недостижимо, что... не один ли черт – Барселона или Лиссабон?!

1 января 1978 года я перестал быть артистом Большого драматического театра имени Горького, в котором проработал двадцать лет. Я стал никем, потому что до официального разрешения статуса «свободного художника» оставалось еще целых десять лет. В случае милицейской проверки я мог, правда, предъявить документ члена ВТО или члена Союза кинематографистов. Но меня никто не спрашивал о моем статусе. У меня было имя (по театру и по кино) и был зрительский спрос на мои концерты. Я отправился в путь с одним чемоданом, тросточкой и цилиндром.

Тросточка – крашеный бамбук с мельхиором – досталась мне по наследству. Для отца моего, Юрия Сергеевича, с его огромным ростом, она была коротка и даже для меня была маловата. Но отец любил эту палочку с ручкой, и любовь передалась мне. А цилиндр в кожаном футляре был мне подарен Евгенией Владимировной Карповой – руководительницей театральной студии Ленинградского университета.

В студии я был с 52-го по 55-й год, но играть в студийных спектаклях еще долго не переставал, а связь с университетом сохранилась даже после переезда в Москву. Евгения Владимировна – раньше, давно, молодой красавицей – была артисткой Большого драматического театра (БДТ), естественно, в дотовстоноговские времена – во времена Николая Монахова. Коллеги ее любили, а некоторые, видимо, были и конкретно влюблены. Среди последних (я так думаю) был и замечательный комик старого закала А.А.Богдановский. Я видел Богдановского на сцене БДТ году в 49-м, на излете его жизни, в роли Расплюева в «Свадьбе Кречинского». То ли он был действительно так хорош, то ли пьеса, прежде неведомая малообразованному комсомольцу, произвела на меня такое сильное впечатление, но понравился он мне необыкновенно. И этот новенький цилиндрик в неуклюжих руках, который так неловко и комично, с каким-то деревянным стуком надевал он на голову, запомнился мне очень.

Когда через восемь лет я поступил в труппу БДТ, Богдановского уже не было в живых. Но память о нем не-ожиданно пришла от Карповой. Удаляясь от дел, в печали переезжая в Дом ветеранов сцены, она дарила ученикам некоторые предметы, прежде ее окружавшие. И вот говорит: «Этот цилиндр, Сережа, оставил мне в наследство Богдановский. Он играл в нем. А в давнее время пути его пересеклись с Михаилом Чеховым, и был случай, Чехов одалживал у него этот цилиндр. Чехову он был как раз по размеру головы, а Богдановскому был маловат. И вот перед смертью сделал мне Богдановский по старой любви такой немного нелепый презент. А я хочу передать его вам. Я уверена, что он вам хорошо послужит и снова увидит сцену».

Вот передо мной изящная большая коробка добротной толстой кожи. Внутри алый шелк. Широкий ремень для удобства ношения или привязки к багажу... к задку дилижанса (о Боже!). И наконец, сама черная цилиндрическая шляпа. Новенькая, представьте себе! Хотя внутри клеймо – London 1903 и имя мастера. Ну это точно как мундир гоголевского Жевакина, который он не снимая носил тридцать лет, а тот все «почти как новый»! И ничего тут смешного – делать надо уметь! И хранить правильно! И любить! Любить вещь! Саму вещь любить как цельное творение мастера. А не запчасти добывать на случай порчи. Порчи и быть не должно! Этот цилиндр и теперь со мной. Ему без малого век!

Но я отвлекся: поезд меня убаюкал, и поплыли воспоминания об еще более ранних воспоминаниях, закрутилась паутинная воронка снов о снах.

Поезд шел уже по Белоруссии. Орша. Лесной край. Здесь за лесами и лесами не слишком далеко точка схождения Брянщины, Белоруссии и украинской Черниговщины. Там имение одного из самых любимых, самых понятных мне писателей Алексея Константиновича Толстого. Имение (там теперь музей) называется Красный Рог. А еще километров через пятьдесят железнодорожный тупичок (редкость какая – не правда ли? – тупик железной дороги) – яблочно-церковный старинный городок Стародуб – родина моего отца. Там год назад искал я

и не нашел следы нашего рода – рода Жихаревых (отец мой еще в гимназические годы взял себе псевдоним Юрский).

Впрочем, об этой поездке еще будет подробный рассказ впереди.

Всё, всё! Хватит отступлений! Некуда уже отступать. Стучит колесами мой Западный экспресс, и еду я по важным личным делам в далекие края.

Так про что это я? Ах да! Я же про него самого, про поезд то есть и говорю! Про путь, стало быть. Про пути!

В январе 1978 года я начал свое одинокое концертное путешествие.

Минск – Тбилиси – Горький – Ярославль – Свердловск – Челябинск – Магнитогорск – Новосибирск – Иркутск – Киев – Петропавловск-Камчатский – Магадан – Чукотка – Калининград – Пермь. Успех был громадный. Правду говорю. Теперь это может показаться преувеличением или обычным хвастовством... но что поделаешь: любой мемуарист рискует либо сорваться в пропасть мстительных (а потому недостоверных) разоблачений, либо разбить себе морду о скалу неумеренного (а потому недостоверного) самовыпячивания. Всеми силами буду стараться избегать этих опасностей. Хотя... хотя, может, и зря! Определенный круг читающей публики как раз и любит эту хлесткую надсаду, эту запоздалую расправу над обидчиками, это сковыривание доброжелательной маски с лица мнимых благодетелей и даже, поверьте, неумное прямое хвастовство – всем я, дескать, хорош, всем я люб, а кому не люб, тот сам дурак! Если не разоблачать и не хвастаться, так про что ж тогда, собственно, и писать-то, а?

Попробую определить мою цель. Я хочу *дать картинку*. Максимально живую, насколько способен. Картинка чтобы перед глазами читателя двигалась, чтобы в нее верилось. А документальное это кино или художественный вымысел – это пусть читатель сам решает. Сам я – часть этой движущейся картинки. Иногда как свидетель – тогда я сбоку. А иногда я в самом центре – как в данном случае с моей концертной поездкой и громовым успехом на всем пространстве тогда еще существовавшей, милые дети, огромной такой страны – Советский Союз называлась...

Концерты-то были публичные, в больших залах – до тысячи мест и более, так что спросить можно многих из тех, кто присутствовал, они не дадут соврать: мест свободных нигде не было. Это тогда я набрал авторитет, который через много лет обеспечил мне большие и тоже полные залы на концертах для эмигрантов в Нью-Йорке, Чикаго, Иерусалиме, Кёльне и Париже.

Хорошо ли я работал? Пожалуй, что хорошо, во всяком случае – честно. У меня было тогда восемь двухчасовых концертных программ – совершенно разных, без единого повтора. Репертуар был самый разнообразный: от Пушкина и Гоголя до Шукшина и Жванецкого (тогда еще далеко не общеизвестного), от Достоевского, Мопассана и Чехова до Бунина, Зощенко и Бабеля... и Булгаков, и Есенин, и Берне... и даже Шекспир... более двадцати авторов, более пятидесяти их произведений. На те, бескнижные, времена в читающей стране – хороший репертуар. Будучи по школе театральным актером, а по склонности – эксцентриком, я не читал, а скорее разыгрывал все эти новеллы и поэмы как скетчи, как одноактные пьески. Лирика и быт сменялись комедией и даже грубоватым фарсом. Так что публика не скучала. Но все же... все же был еще один добавочный мотив, еще одна тайная причина этого невероятного успеха.

«Уж и невероятного!» – скажете вы. А я скажу – да, невероятного! Я не случайно это слово употребил. Чтобы в Киеве на концерт с программой «Пушкин. “Евгений Онегин” и “Домик в Коломне”» вызвали милицейское оцепление?! Чтобы в почти двухтысячном зале Чайковского в Москве не попавшие на концерт ломали двери?! Чтобы в Свердловске, где печатать мои афиши было запрещено, а когда их все-таки напечатали, развешивать по городу было не рекомендовано, и потому просто повесили возле кассы бумажку, на которой от руки написали объявление о выступлениях, я дал шесть концертов за шесть дней с шестью разными про-

граммами, и зал был переполнен, и молодежь сидела в проходах на полу и стояла по стенам и располагалась прямо на сцене?! Да, это было невероятно.

Так вот, была еще одна причина этого успеха. Вернее, совпадение причин.

Пишут: социальная психология пришла к выводу, что люди хвалят и славят нечто, только если при этом и тем самым хвалят и славят самих себя. Печально так думать о людях, и есть надежда, что это все-таки не полная правда, но надо признаться, мысль эта некоторую реальность отражает.

Возьмем, к примеру, отношения футболистов и их болельщиков. Болельщик не скажет про свою команду: «Они победили!» Он скажет: «Мы победили! Наша взяла!» Любимый форвард – и кумир, и одновременно полная собственность болельщиков. Его больное колено, его жена, его любовница, его машина, его деньги – всё предмет горячих, словно бы личных эмоций и обсуждений. Его гол – наш гол! Его слава – наша слава! И далее – мы из себя, из нас его выделили, мы его признали и теперь с его помощью докажем, что мы лучше других. Это феномен толпы. Тут великое множество проявлений: от кропотливого, ежеминутного подсчета медалей на Олимпиаде – у них больше или у нас больше... если у нас больше, значит, наша нация лучше... УРА-А-А!.. до извращения религиозного чувства, когда вместо Веры и Постыжения идет хвальба *своего* Бога – наш лучше вашего, а потому мы лучше вас.

Но есть другой, косвенный вариант – гораздо более благородный и индивидуальный. Удовольствие физиологическое (*мне это приятно*) и даже удовольствие эстетическое (*по-моему, это красиво*) отступают на второй план. Я выражаю свое одобрение (хваляю, прославляю), потому что это делает меня лучше, чем я был вчера. Это феномен пробуждения личности, пробуждения нравственного чувства. Далеко не всё здесь от логики, от разума, очень много идет через подсознание. Хваля *это*, выражая свое одобрение *этому*, я *чувствую*, что совершаю хороший поступок, я *чувствую пополнение души*. Я ощущаю, что поступил «по совести», и поэтому испытываю чувство гордости собой. Здесь не агрессивная радость быть с толпой, с большинством, а возвышенная радость присоединиться к числу избранных.

Вот такая цепочка мыслей мелькает на дне сознания: «Я лично не читал ни Булгакова, ни Мандельштама, ни Пастернака, но слышал, что они вроде запрещенные, что ли?! И этого артиста... то ли куда-то не пустили, то ли откуда-то вытолкали... вон, даже афиши нормальной нет, как обычно в нашем ДК... а вот возьму да и пойду! Именно поэтому и пойду. И жена, кстати, хотела сходить. Хочется наконец ей сделать приятное...»

Это очень *советский* феномен. Теперь, произнося прилагательное «советский», мы имеем в виду нечто отрицательное – «совковый». Но в данном случае можно было наблюдать явление с положительным знаком.

Привычное: «Я Пастернака не читал, но категорически его не принимаю и осуждаю!» – это было! И это было *чувство толпы*.

Но я на своем личном опыте много раз ощутил обратное: «Я Пастернака не читал, но, так как в газетах его осуждают, я заранее выражаю ему свое одобрение! Вот артист со сцены, смотри-ка, громко объявил: Борис Пастернак. Три зимних стихотворения – и несколько человек в зале сразу захлопали, они, наверное, знают, что это за стихотворения. Я не знаю, но и я заховаю, потому что это правильно, и я за Пастернака, нечего наваливаться на человека! Вот чувствую, что мы с женой хорошее дело делаем тем, что хлопаем».

Разумеется, я сознаю, что на мои концерты большей частью ходила интеллигенция, то есть люди читающие, мыслящие, люди образованные. Но, оглядываясь назад, вспоминаю, что выступил я, допустим, не только в Магнитогорском металлургическом институте, но и доменном и мартеновском цехах комбината. Не только в Ижевске, но и, прямо скажем, в глухом городке Сарапул. Не только в Иркутске, но и Ангарске. И в чукотском Билибине одними инженерами с атомной станции полный зрительный зал не набьешь. А в поддавки я нигде не играл,

и репертуар оставался таким, как я уже рассказывал. Некоторая кинопопулярность, конечно, была. Но ведь если скучно, так в антракте и уйти можно.

Горжусь тем, что я (не я один, конечно, но среди других и я) рекрутировал людей в интеллигенцию. Никогда не искал маленьких зальчиков «для своих», «для знающих-понимающих», а соединял в больших залах знающих и незнающих и знакомил их друг с другом. Горжусь тем, что на пространствах огромной страны *всегда* находились люди, ждущие от театра не простого, а сложного. Горжусь моими зрителями. Сколько их? Счет простой. В наиболее активный период (с 74-го по 89-й) я давал не менее 150 концертов в год. Значит, минимум 2250 полных залов. Умножим хотя бы на 500 и получим *один миллион сто двадцать пять тысяч зрителей* (не считаем ни театр, ни кино) на литературных концертах одного артиста за 15 лет! А?

К чему это я? А-а, к хвастовству? Ну что ж, есть чем гордиться. Но все же я не к этому.

Плоха была советская власть. Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выбежешь ли – большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного, подспудного сохранения себя как личности в толпе – этот опыт бесценен. Не выбросить бы его случайно вместе с мусором всего наносного.

В Минске стояли пятнадцать минут. Было уже темно. Наш вагон «Москва–Берн» был в хвосте берлинского поезда. Нам не хватило ни высокой платформы, ни огней. Под вялым дождем, смешанным со снегом, торговали горячей картошкой и неприятно жирными куриными ногами. Бегали какие-то особенно несчастные мокрые собаки.

Когда поезд тронулся, я окончательно уверился, что в двухместном купе международного вагона еду один. Это было приятно. Мне было совсем по-детски эгоистически радостно и одновременно немного стыдно за свою радость. Собаки бежали за вагоном, и какие-то непонятные люди с большими мешками безнадежно стояли под припустившим сильнее дождем.

В купе было тепло, светло. Специально для этой ночи – последней на родной земле – у меня была припасена бутылка водки, которой я ни с кем не собирался делиться. У меня были славные бутерброды и славная книжка на случай бессонницы. Я разложил яства... я отвинтил... я налил... я потерял руки...

Минск – Брест

Вот тогда-то резко отъехала дверь и появился Виталий Геннадьевич, в тяжелом пальто, в кашне и с двумя чемоданами.

Есть люди с таким особенным голосом, который вроде даже приятен – он звучен, он немного, пожалуй, слишком сдобен, но во всяком случае недурен. Речь тоже недурна – достаточно культурна, слегка (абсолютно в меру, поверьте!) присолена матерком, а потому не пресна, в какой-то мере, можно сказать, даже юмористична. Одним словом, хороший голос и хорошая речь. Недостаток этой речи, пожалуй, только в ее избытке.

Оказаться с таким человеком наедине в замкнутом пространстве более чем на десять минут – пытка. А попасть в одно купе на двухсуточное путешествие...

– Будем знакомиться – Виталий Геннадьевич, ведущий профессор, – сказал Виталий Геннадьевич. – Ваше седьмое? А мое восьмое. Чего-то мне ваше лицо знакомо. Я еще в Москве подумал, что вы на кого-то похожи... О, антресоль-то свободная, я туда оба чемодана пихну. А ваши где? Под полкой? Это зря! Они сейчас, тяни их, на этой границе совсем оборзели, что ты! Никаких там под полкой – всё на виду должно быть. Я даже каждый раз все замки заранее отпираю. Всё для вас, всё наружу! Во, классный анекдот! Грузин говорит: «А все равно грузины лучше, чем армяне!» Его спрашивают: «Ну чем? Чем?» – «Чем армяне!» Ха-ха-ха! Класс, да? А чего это у вас бутерброды разложены, а выпить нечего? А в стакане это что, вода? Ну-ка, ну-ка... да это ж пахнет... это ж водка! А-а... ха-ха-ха... колоссально, а я думал – вода. Стой, тянитская сила, узнал! Вы же актер, да? «Двенадцать стульев», да? Тянитская сила, а я все смотрю и думаю: знакомая морда. Колоссально! Жене расскажу – не поверит. Она мне вообще никогда не верит. Чего бы я ей ни рассказал – не верит, и точка! И правильно делает, ха-ха-ха! Ну чего там бутерброды... мы сейчас в ресторан пойдем, пока не закрылся и пока на наши деньги. Это только до Варшавы, а потом всё – свистец! – только на валюту! Вы сколько в декларацию пишете? Ну правильно! Я тоже так: сколько положено, столько и пишу. Ни больше ни меньше. Больше – заметут, а меньше – подозрительно, правда? Ладно, всё, пошли в вагон-ресторан. Я приглашаю. У меня этих наших деревянных навалом. Во, видали? Полный бумажник... Кстати, позвольте на всякий случай чего вручить вам мою визитку – вот, Виталий Геннадьевич... ведущий профессор... и старший консультант... генерального... конструктора... по социологии. А то я, как вошел, сразу смотрю – ну, знакомое лицо!

Беда в том, что и мне его лицо знакомо. При посадке на Белорусском вокзале был скандальчик. Возле соседнего – «брюссельского» – вагона стоял носильщик с телегой, горой нагруженной разнокалиберными вещами и пакетами. Носильщик требовал еще добавочную пятерку, потому что «сами пересчитайте, сколько их тут». А владелец вещей, оказавшийся впоследствии ведущим профессором, был в то время – удивительное дело – совершенно пьян. Он никак не мог в толк взять, чего от него хотят, и совал носильщику рубль. А тот от рубля отказывался и требовал пять. Ведущий профессор качался на неверных ногах и говорил: «Ну чего ты, ну чего ты хочешь? Ну нет у меня больше, тянитская сила, ну смотри...» – и показывал бумажник, который был – я сам это видел – совершенно пуст. И это был тот самый бумажник, который он теперь демонстрировал мне, и теперь он был – это же прямо фокус какой-то – туго набит и нашими купюрами, и валютой.

Еще тогда вся эта сценка мне приметилась, и как-то неприятно приметилась: груда вещей, носильщик, какой-то заморыш прыщавый и этот здоровый краснощекий профессор, который пританцовывает на пьяных ногах и все трясет бумажником и карманы выворачивает – ну пусто, ну ни копейки, ну видишь... а между тем покрикивает: давай, Боря, давай, Сережа, давай, давай заноси... там пока на кровати кладите... Молчаливые, невнятные Боря-Сережа

сноровисто таскают тюки и пакеты в вагон. И над всем этим снег хлопьями, и сразу тает, и, как коснется перрона, сразу в грязь обращается.

Я еще подумал – какой скверный наигрыш, какая неправда, как это человек в Брюссель едет с совсем *уж* пустым бумажником. И что ж, Боря-Сережа не могут, в конце концов, четыре рубля наскрести? Потом я решил: пьян в стельку краснорожий пассажир, до самого Брюсселя не проспит. Ан, смотри-ка... в тот же день тут как тут, вроде и вовсе не пьяный, и бумажник как бочонок.

– Сейчас главное – Брест пройти, советско-польскую и потом германо-германскую, там они всё нюхают, а остальное ерунда. У меня сын в Брюсселе, старший... все время просит – то привези, это привези... там у них дорого все охерительно... ну, я пока по ребятам раскидал... после германо-германской там все нормально будет... за Берлином они уже не рыпаются. Во Франкфурте-на-Майне я все равно к ним в вагон перейду. Да и в Брюсселе-то три дня всего, так... погулять... и в Лондон... на пароме – и в Англии. На Би-би-си. А вот интересно, вы Би-би-си теперь слушаете? Раньше – это понятное дело. А вот теперь, когда все можно? Вон что творится! Мы ж совсем открылись, а они к нам проникают. Сознание уже практически управляется оттуда. «Свобода» открыто вещает, Би-би-си – и говорить нечего. Изнутри всякая гниль полезла... Это вот вам – актерам, писателям – вам надо не терять влияния! Вы ж смотрите, что с молодежью делается! Но конечно, в этом застойном дзоте отсиживаться нельзя, открываться надо. Надо выходить на контакт. Потому что экономика в штопоре, но по идеологии мы все равно сильнее. Я осенью читал в лондонском университете лекцию об экстремизме в молодежных организациях. Они рты открыли! Потому что они думают, что мы совсем лапти. А я им два часа на хорошем английском и довольно откровенно – что у нас в Свердловске творится, что в Кургане... Там же фашисты головы поднимают. Нормальная проблема – запросто на диссертацию тянет... Ну они, в Лондоне, меня слушают и прокисают... Видят, что мы не как раньше... что мы о своем больном говорить можем... «Мистер Прахов, мистер Прахов, мы хотели бы услышать развитие темы!» А я говорю – пожалуйста, могу курс прочесть, но параллельно надо охватить средства массовой информации. Пожалуйста, я вам курс – вы мне время на Русской службе Би-би-си. Они начали, что, дескать, это разное, это другое ведомство... Ну ладно.

После Рождества и всех их каникул мы пригласили одного из их боссов к нам на две недели... Сделали поездку Москва – Ленинград – Киев – Тбилиси... попоили его, погуляли... И всё! Сейчас еду туда – он меня встречать будет. Личный контакт.

Наши бывшие пытаются там рыпнуться: «Нам не нужны из Союза, у нас много своих опытных работников...» Сто-оп! У вас диссиденты, а не работники! Это другая квалификация и другая точка зрения! А как насчет объективности, а? Или вас устраивает одностороннее освещение фактов? Хоп!

Всё! Вот сейчас еду уже конкретно разговаривать... Идеологию мы не должны сдавать ни в коем случае...

Экономику просрали, значит, держи порох сухим в идеологии. Кстати, об экономике: если хотите сигареты покупать, только во Франкфурте-на-Одере – ровно через сутки. Там они в два раза дешевле в Tax free. Буквально в два раза. Но только на марки. Доллары они не берут.

Ну всё, всё, пошли в ресторан, отметим знакомство. О-о, буфет идет!.. Ах ты моя голубка! Что у тебя осталось-то к последнему вагону?! Не-е, это не то, это не пиво... пива мы в Германии попьём... О, смотри... виски! Сколько тут? 250 грамм? Давай! И орешков! Сейчас выпьем за начало *пути*. Видишь, голубка, с кем я еду? Узнаёшь лицо? Лицо узнаёшь? То-то!

...На рассвете была граница.

Брест. Стоянка

Знаете ли вы, что такое граница? Если вы, подобно мне, советский человек, то вы знаете, что такое граница. Если же вы человек иностранный или наш, но совсем молодой, то вы понятия не имеете, что такое граница.

Граница – предел, черта, за которую *нельзя*. Граница – грань возможного. На границе тучи ходят хмуро. Пограничник в тяжелой шинели, застегнутом на подбородке и надвинутом на лоб островерхом шлеме – герой нашего детства. Он не спит никогда. Он стережет. Чтобы ни туда ни сюда. Граница на замке. Это колыбельная наших младенческих лет. Спи спокойно, мой маленький, никто не придет, граница на замке.

ГРАНИЦА. Это был магический круг длиной во много тысяч километров. Разве мало тебе места внутри этого круга? Разве не бесконечно разнообразна здесь природа? Разве не свободен ты ходить, ездить, летать и плавать от одной границы до другой? Ты свободен передвигаться повсюду! *Кроме*. Кроме мест заключения и мест, входящих в перечень секретных. Их много, их очень много. Островками, островами и целыми архипелагами они разбросаны повсюду... Но разве без них мало простора? Правда, имеются такие административные осложнения, как ПРОписка, ПРИписка (к месту службы, к территории, к секретному городу), но это проблемы индивидуальные. А вообще-то ВСЁ от края и до края, от границы и до границы – это твоя страна! Правда, не от самой границы... и не до самой...

Граница – это такая тонкая, такая значительная при этом черта, что уже на дальних подступах к ней начинается ПРИграничье. Тут живут особые люди – со специальными документами, со специальными правами и обязанностями. Чтобы обычный «внутренний» человек мог попасть в приграничье, нужно разрешение, некий вкладыш в паспорт. Если тебе выписали и вклеили этот вкладыш, значит, тебе доверяют, значит, ты свободен подойти почти к самой пограничной полосе. И ведь не все же десятки тысяч километров лес, бывают и просветы, и прогалы. Если день не туманный, можно видеть – в это трудно поверить, но, ей-богу, можно видеть – жизнь *по ту сторону границы*.

Вот стоит корова. Она щиплет траву и обмахивает себя хвостом. Но это другая, это не наша корова – по цвету, по размеру, даже, кажется, по форме – это немножко другая корова.

Вот едет грузовичок. Он весь как-то иначе сделан, по другим каким-то физическим и эстетическим законам. Едет себе... и почему-то оставляет меньше пыли, чем наши грузовики. Это, видимо, особое устройство колес... или дорог... Или это такое особое устройство моего зрения, что все, что *там*, кажется чуть ярче, чуть миниатюрнее, чуть чище... как в цветном предутреннем сне.

Граница – табу № 1. Об этом написаны сотни рассказов и поэм. В границе заключена тайна жизни, последняя ее черта. И потому, наверное, так тянет заглянуть за эту черту – а что же там??? Потому так манит граница и с той, и с другой стороны. Оттуда лезут и лезут шпионы – на планерах, на парашютах, на ходулях, на копытах, ползком, задом наперед. Под видом мальчишек на велосипедах проникают матерые престарелые лилипуты. Под видом заблудившихся охотников, странников, священников идут и идут разведчики и диверсанты.

И вот уже не поручусь я, что эта корова на том берегу вялой речушки не состоит из двух специально подготовленных наблюдателей. И не дам я руку на отсечение, что на крыше того слабо пылящего грузовичка не установлен особый перископ, через который ясно виден весь наш берег и я, в частности, виден во всех моих подробностях. Манит, манит их всех наша сторона!

Да, но нас-то почему так манит за эту границу, вот вопрос! Прямо скажу – дурацкий вопрос! Почему домашнего кота манит выскользнуть за дверь родной квартиры? Да потому, что интересно, а что там? А мы советские люди. Для нас пересечь границу – это как умереть

и воскреснуть! Это Пасха Господня для нас, безбожников. И потому – по неопытности, по незнанию, по невежеству – начинает казаться (ошибочно, ай, как ошибочно!), что *там* рай – светлый и бесконечный.

Сейчас-то что, сейчас я уже по привычке. А когда в первый раз... в 63-м году, по весне... Ехали мы с двумя товстоноговскими спектаклями – «Варвары» Горького и «Океан» А. Штейна – всей труппой БДТ на целых два месяца за (глаза замуриваю и головой качаю от неправдоподобности – совсем *за*) границу! В Болгарию!!! И в Румынию!!!

На пограничной станции Унгены стал поезд. И готовили нас к пересечению границы действительно как к переселению на Тот свет. Отдельно от нас стояли бесконечной чередой *другие колеса*. Здесь начиналась не наша, *иная колея*. Мощные домкраты – по четыре на каждый вагон – приподняли нас всех, нашу опору – наши колеса – укатили из-под нас, и состав (я не вру, я ведь не вру!) повис в воздухе!.. Потом прикатили другие колеса, мы опустились на них и с этой минуты стали наполовину (нижнюю) уже иностранными. О Боже, какое странное ощущение – стоять на другой, не нашей колее!

Пошли по вагонам суровые проверки, пошли хмурые, как тучи, люди с железной выдержкой и ледяной вежливостью. У нас была хорошая труппа, отличные актеры. Но это ж там, в Ленинграде, мы кумиры и нас знают, а здесь далеко... кто мы? Никто мы!

Лебедев? Ну и что ж, что Лебедев, Лебедевскими пруд пруди. Евгений Лебедев? Не знаем, мы по театрам не ходим. Что Доронина? Кто Шарко? Что нам Басилашвили, Лавров, Макарова, Юрский... Главный кто? Товстоногов? А он кто? Режиссер? Ну это вообще никакого интереса. Счастливого путешествия, товарищи артисты! Берегите честь нашей Родины! За мной, в следующий вагон.

Ночь. Никто не спит. Мы все в великом возбуждении. Какое необыкновенное ощущение – впервые *пересечь границу своей Родины!* Эта Родина так хорошо вырастила и обучила нас, что вот – мы нужны и тут, и там – за границей. Наша Родина теперь такая открытая. Сталин соорудил стену между миром и нами, а теперь... Теперь мы полны свободолюбивых идей, мы возьмем их с собой, мы открыто говорим о них... Посмотрите хоть пьесу «Океан» Александра Штейна в нашем исполнении в постановке Г.Товстоногова и М.Рехельса. Вы знаете, какие слова говорит там артист Юрский в роли Кости Часовникова? Он прямо говорит Лаврову в роли Платонова: «Нет, если партия – это такие люди, как ты, тогда можно вступить в партию, тогда другое дело». Этот спектакль мы и будем играть по всей Болгарии и по всей Румынии. Они там ахнут. Потому что у нас в стране пошли большие перемены, а у них всё еще говорят, что в партию надо стремиться без всяких условий, просто стремиться и по возможности быть в ней. В Ленинграде, Москве, Киеве... 150 раз уже прошел «Океан» Штейна с полными аншлагами, овациями, где артист Юрский в роли Кости Часовникова... впрочем, это я уже говорил.

А сейчас... в данный момент... как мало важны все наши театральные дела, наши успехи и неудачи... вся наша жизнь с ее мелочной суетой... по сравнению с серьезностью *пересечения границы*. Всякое пересечение границы есть преступление. В том числе и законное пересечение. Раз переезжаешь – значит, переступаешь, раз переступаешь – значит, преступление!

Так не говорится прямо, но это читаешь во взглядах пограничников и во всей могучей постановке этой государственной мистерии: «Ночь. Натура. Унгены».

Последние метры по родной земле. В вагоне немыслимое напряжение тишины. Слышно, как маленькая отставшая железка вякает под потолком. Едем медленно. Ничего не видать за окнами. Только колючая проволока поблескивает. Не выдерживает замсекретаря партийной организации (хороший актер, между прочим) и густым своим голосом произносит громко: «Эх, русских бы сейчас щец». – «Заткнись!» – выдыхает весь вагон. Щецы хороши, русские еще лучше, но сейчас не щец хочется... сейчас хочется... черт его знает, чего нам всем хочется. Молчать! Смотреть! И слушать! Мы *переезжаем границу Советского Союза!*

Ярко ударил свет прожекторов. Где, где она? Где мы? Внимание! Лбы влипли в оконные стекла. Ну! Где?..

Будка с часовым... Мост.

Вот! Пошла вспаханная полоса – она, она... Ничейная!

Полоса моя нейтральная! То есть не моя, в том-то и сила, что она уже не моя, она ничья. Ровненькая – каждый след будет виден. Человек пройдет – видно! Кошка пробежит – видно! Муха пролетит – ...ладно, хватит ёрничать!.. кончается полоса.

Медленно идет поезд на чужих колесах.

Ослепительный прожектор прямо в глаза. Не видать!

Зажмурились глаза.

А когда открылись...

Все другое!

Стоят две цистерны – другой формы, не наши. Стоит чумазный смазчик с ящиком и лейкой – всё не наше – и ящик, и лейка, и смазчик... и фуражка на нем форменная – не наша.

Боже, какое перенапряжение, какая усталость и какое возбуждение. Мы перешли... мы переехали... мы пересекли!

Эта граница и теперь в моей душе. Я вспоминаю это не для запоздалого осуждения и не для покаяния. Мне нужно это помнить, потому что следы этого остались во мне. В нас. Это граница не десятилетий, а веков русской истории. Беспредельность внутреннего пространства и закрытость внешнего.

И я не насмешничаю, не издеваюсь. Я стараюсь не быть угрюмым в моих рассказах о прошлом.

Поверьте, молодой читатель, мы вовсе не были слишком уж глупы или трусливы. И совсем не были заводными куклами, лишенными внутреннего содержания. Только вам, нынешним, не понять наших несчастий и наших радостей. Вы не знаете, что такое ухватить почти без очереди («Ну полчаса всего постоял!») две бутылки водки и палку колбасы. Вы не знаете радости, когда – нет, не купил еще, до этого далеко! – а *записался* в очередь на холодильник, и мой номер в первой сотне! И вы никогда не узнаете восторга, который переживала душа при пересечении границы: мне доверили, я достиг, я дожил до этого... я взлетел!

Дай вам Бог этого не узнать! Но не смейтесь над нами, дети. В вас наши гены. Валяйте, гуляйте... но помните это.

Теперь, когда все перевернулось, когда сотни людей из Омска прямым рейсом летают на Кипр и в Барселону – отдохнуть пару неделек, когда мой приятель говорит: нет смысла ехать в Италию на машине, лечу самолетом, а там найму машину и своим ходом дальше, когда состоятельные (очень, очень состоятельные) люди из Сургута отправляют сорок детей в Париж на пять дней – только побаловаться в Диснейленде, а музеи и там остальное... ну посмотрят через месяцок, еще одну экскурсию организуем, – теперь, когда все так перевернулось, я спрашиваю себя: куда исчезла эта граница? Испарилась?

Или приснилась она нам тогда? Или все дело в деньгах? Раньше мы были бедными, а теперь некоторые стали богатыми. Такими богатыми, что для них вообще уже нет никаких границ. Часто слышалось: какие эти западные люди свободные – в поведении, в жестах, в любых мелочах... сразу отличишь от наших. Теперь наши, бывает, куда более иностранные, чем сами иностранцы... И говорят даже на разных языках, и такие свободные в поведении, что даже расхлябанные. Но в том-то и дело, что всё это *как* они и даже *больше*, чем они. Всё это немножко *слишком*. Опять же говорят: нормально, процесс пошел! Со временем все устаканится.

Может быть. Хотя не уверен. Не думаю. Я ведь не со стороны смотрю. Я тоже отсюда. Мой XX век я большей частью прожил *в строгих границах*. Они во мне. Они прошли через меня насквозь. И таких, как я, много, много. Нам нельзя превратиться в заграничных людей. Это притворством будет. Потому что мы, забыв про границу, думаем, что преграды исчезли

вообще. А оказывается, У НИХ, у заграничных-то, у них свои преграды... и стенки, и потолки, и заборы, хоть и плющом увитые, а крепкие!

От родителей можно отказаться (это на нашей памяти бывало), а вот перестать быть их потомком – нет. Нетушки!

Брест – Варшава

Виталий Геннадьевич наконец напился всерьез и проспал с храпом наше вторжение в Польшу. Невнимательные либеральные пограничники вколотили нам в паспорта по штампу, невнимательные таможенники подмахнули декларации с одинаковыми разрешенными суммами, и рассвет высветил белую равнину с черными ранками изб, рожиц, станционных строений. Был тот же февраль, но только уже заграничный.

Очень люблю весну. Рад бы вслед за Александром Сергеевичем восхищаться прелестями осени и восклицать: «... Я не люблю весны; скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен...» Но что поделаешь – люблю весну. Ленинградскую раннюю люблю, когда лед на Неве меняет цвет и сквозь зимний автомобильный шум города просачиваются новые звуки – таянья, невнятного журчания, вздохов размораживающейся большой воды. И вдруг понимаешь, что ты не на материке и не на обширной тверди, а на островах, будь ты хоть на необъятной Неве, или на корректной Фонтанке, или хоть на узеньком канале Грибоедова.

И московскую весну люблю. Особенно позднюю, с сиренью в неизменных двориках возле неизменных сараев. Это ж сколько раз всё сносили, давая простор небоскрегам! И небоскребы выросли... и состарились... и еще новые гиганты скребут небо, а рядом, внизу, тут же за углом – вот чудо-то! – всё те же сарайчики непонятного назначения во двориках, где белье сушится на веревках и небритые мужчины в застиранных майках стучат костяшками домино или сидят бесцельно на скамейках, щурясь на солнце. И сирень, сирень... И каждый вечер... день все длиннее.

Я видел две особенные весны – Пражскую весну 68-го года и время цветения сакуры в Токио в 98-м. Они совсем непохожи. Они даже несопоставимы. Поэтому очень важно будет рассказать про обе. Одна стремилась все изменить и перемены сделать необратимыми. У японской весны был другой принцип – ничего не менять и даже ни к чему не прикасаться. Ждать, видеть, смотреть... и знать, что цветению отпущено только две недели. А дальше – весне конец. Одна весна рухнула, другая – вечна.

В Праге тогда дышало вдохновение. Все, что ни делалось, было талантливо, и все восхищались друг другом.

Наши спектакли шли в театре «На Виноградах», а поселили нас на другом берегу Влтавы, возле парка Фучика. Между театром и отелем курсировал специальный автобус, но манила улица. Хотелось идти пешком или ехать в трамвае – видеть эти лица, слушать полупонятные возбужденные разговоры. БДТ к тому времени был уже знаменит, и нас окружали репортеры, театроведы. Это были странные интервью. Интервьюеры мало спрашивали, а больше говорили сами, захлебываясь рассказывали о своих переменах. Свобода! Свобода от слежки, от цензуры, от госбезопасности, от московских «советников» во всех областях жизни. Свобода от страха. «Может, и ошибаемся, но не боимся. Говорим громко», – сказал мне Богумил Барта, мой старый друг – соученик по Ленинградскому университету, а теперь профессор юридического факультета в Праге. Ироничный Богумил, скептик и насмешник, не мог скрыть восторга, переполнявшего его.

А какой был невероятный театральный бум в городе и в стране! Подряд смотрели спектакли в театре «На Забраноу»: «Три сестры», «Иванов», «Царь Эдип», «Кошка на рельсах».

Ослепительная режиссура Отомара Крейчи и мощный актерский ансамбль и два несомненных лидера труппы – Томашева и Тшиска. Поражающие декорации Людвига Свободы.

А театр «На Забрадли»! А «Ревизор» в театре «Чиногерни Клуб» с Павлом Ландовским – Городничим и Олегом Табаковым – Хлестаковым, игравшим на русском языке. Я видел в своей жизни десятка два «Ревизоров» и сам сыграл несколько ролей в разных постановках, но клянусь – никогда так не хохотал вместе со всем залом, как на спектакле молодого тогда режиссера Яна Качера. А увлеченный Леош Сухаржипа – актер, режиссер, журналист! А спектакль по Бабелю в театре «На Виноградах»!

Заметьте, очень много играли русских и советских пьес. Но не по приказу, не из-под палки. Слетели с глаз шоры, и появились свежие, яркие интерпретации. Публика ломилась повсюду. Очереди в кассы кино. Знаменитый теперь и полузапрещенный тогда фильм «Поезда особого назначения», гомерически смешная бытовая комедия с тем же Ландовским, едкие первые комедии Формана. Концерты классической музыки в костелах – толпа, яблоку негде упасть.

Франтишек Павличек, директор театра «На Виноградах» и активист дубчековских реформ, говорит: «Смотрите, смотрите, это и есть социализм. Была подмена, была фальшь, а это настоящее. Теперь все будет нормально!» Хорошо звучит по-чешски подчеркнутое *о* и *л* без мягкого знака – «нормально»!

Мы едем по стране. Брно, Братислава. Там чуть потише, но тоже бурлит. И снова поездом возвращаемся в Прагу. Уже март, совсем тепло. Настоящая весна. Начало цветения. Мы потрясены. Мы ошеломлены. Мы влюблены в эту страну и в наших коллег из этой страны. Правда, появился некоторый привкус тревоги. В Москве недовольны. Москва сердится. Могучий «старший брат» хмурит брови. На безразмерной Вацлавской площади день и ночь идут митинги.

Пошли слухи, что западные немцы хотят оккупировать страну и чехи якобы готовы открыть границу. Советские газеты обвиняют Чехословакию в антисоветских настроениях.

«Где, где? – кричит Павличек. – Вы разве ощутили антисоветские настроения? – Он хватает Товстоногова и меня за рукава. – У вас сегодня свободный день. Берем машину и едем на границу. Вы увидите сами. Там все спокойно. Какая оккупация?»

Все это громко. И все это страшно. Потому что и их страна, и наша – это страны стукачей. Они пытаются от этого избавиться, но пока это только попытка, а у нас стукачество нарастает.

«Расскажите там у вас, что вы здесь видели. Расскажите правду!» – кричит нам на перроне Павличек. Поезд на Дрезден – мы едем дальше, в ГДР. Я не могу забыть последних минут прощания с Франтишком Павличеком. Это не фраза, я и правда все тридцать с лишним лет, которые прошли с тех пор, это помню, и жуть охватывает сердце. Закатное солнце било в глаза. Толпа уезжающих и провожающих. В эти дни газетные вести стали совсем тревожными. Павличек почти не спал несколько суток. Глаза красные, воспаленные. Как официальное лицо, он произнес краткую прощальную речь. Стали входить в вагоны.

Мы крепко подружились с ним за эти дни и потому обнялись.

«Ну, до встречи... Увидимся... вы звоните, вы пишете... я позвоню, я напишу...» – обычные прощальные слова. Я увидел влагу в его глазах. Может быть, переутомление, а может быть, слезы – так грустно ему с нами прощаться? Но не в нас было дело. «Пора, пора. Увидимся, увидимся», – сказал он. Поезд тронулся. Мы с Георгием Александровичем стояли рядом у открытого окна в коридоре. Павличек, не отставая, шел рядом с вагоном. И вдруг он широко улыбнулся. В сочетании с влажными глазами это было довольно жутко. Это был оскал усталости и боли. Поезд ускориł ход. Павличек побежал. Он поднял руку, и, прощально махая ею, с широко открытым, квадратным, как у рыдающего младенца, ртом и неожиданно жестким взглядом мокрых глаз, он прокричал несколько раз: «Никогда больше не увидимся! Никогда!»

Он оказался прав. Он предвидел.

В конце июля того же 68-го года мы с моим другом Симоном Маркишем были в Новом Свете. Тогда он был москвичом, а я тогда был ленинградцем. Мы съехались в Симферополе и отправились «дикарями» в поселок Новый Свет – восточный Крым, возле Судака. Ходили по горам, купались и пили шампанское. Познакомились с кем-то из руководства и были приняты на шампанском заводе. Были потрясены: никогда нигде такого роскошного «брюта» не пил. Все «spumante», которые появились у нас, это вообще не шампанское. Даже «Вдова Клико», такая, какую мне удалось познать, ей-богу, хуже. Правда, «Вдова»-то была из магазина, а не прямо из заводского подвала, но все равно – «новосветское» осталось недостижимым идеалом 68-го года.

В дощатый домик почты пришла на мое имя телеграмма до востребования: «ТЕБЯ ВЫЗЫВАЮТ ДОЛЖЕН ЛЕТЕТЬ ЧЕХОСЛОВАКИЮ ОТЛЕТ ВОСЬМОГО АВГУСТА ЦЕЛЮЮ МАМА». Я не был тогда, да и никогда не был потом человеком, которого лично (!) посылают за рубеж и который должен (!) лететь. Однако... однако крайне интересно после весенних пражских впечатлений.

Наш отпуск с Симоном прервался на середине, и я вернулся в Ленинград. Нас посылали вдвоем с московским профессором-театроведом Хайченко на скромненький самодеятельный театральный фестивальчик в город Гронов – на севере Чехии.

Отлет был, естественно, из Москвы. Из других городов Союза тогда за границу не летали. М.А.Швейцер, узнав, что я неожиданно окажусь в столице, спешно назначил несколько смен речевого озвучания «Золотого тельца». Двухлетние съемки фильма закончились весной, и теперь в летнюю жару собрать актеров на озвучание было проблемой. С утра до позднего вечера мы стояли перед микрофоном в темном зале и старались вложить в губы своих персонажей произнесенные нами прежде слова. Михаил Абрамович был весел, требователен и полон сомнений. Делали иногда по двадцать и более дублей. Я все говорил: надо успеть до седьмого – восьмого, я улетаю за границу. Зяма (Зиновий Ефимович Гердт) – наш несравненный Паниковский, объехавший со своим кукольным театром чуть ли не весь мир, едко смеялся надо мной: «Вы это Чехословакию называете заграницей? Сережа, у вас склонность к чудовищным преувеличениям. Что за паника? Вы едете в Чехо, извините за выражение, Словакию, а я еду в Красную, не при детях будь сказано, Пахру. Какая разница? И днем позже, днем раньше – не имеет значения».

Мы закончили работу седьмого поздно вечером. Ноги отваливались от усталости. В голове гудело. Но Зяма, как всегда, шутил, а мы хохотали над его шутками. «Прощайте, Сережа! – кричал он. – Ведите себя там хорошо, все время напоминайте себе, что вы находитесь за границей! – И уже во дворе студии: – Не продавайте Родину!.. Дешево!»

С Григорием Аркадьевичем Хайченко мы познакомились при получении авиабилетов и паспортов с визами. Нас посылал СОД – Союз обществ дружбы, организация, наштапованная КГБ так, как нынешнее телевидение наштаповано рекламой. Нам в двух словах напомнили, что обстановка там сложная, что нужно «держать ухо востро» и... и всё. И ничего больше!

Я думал, что он стукач. А он думал, что стукач я. Ведь кто-то должен был быть стукачом в нашей делегации из двух человек. Мы быстро долетели до Праги. Нас быстро встретили и поселили в Палас-отеле на Панской улице – совсем рядом с Вацлавской площадью. Мы быстро провели встречу в Доме советской науки и культуры – очень быстро, потому что те, кто пришел на встречу с нами, очень торопились. Мы говорили коротко и неинтересно. И все время думали – кто из нас стукач? Мы быстро поспали в отеле Палас и ранним утром выехали на черной машине «школа». Мы заехали в Страгов монастырь, где работали архивисты, и захватили веселого старика – красивого и неряшливого. Он сказал, что его зовут профессор Владимир Браунер. Он был уверен, что мы оба стукачи.

Мы быстро доехали до крайнего севера страны – всего километров восемьдесят. В городе Гронов в школе возле костела мы поселились в пустующем классе. Шесть кроватей стояли по

три в ряд, а учебные столы были вынесены в коридор. Мы будем жить совсем на виду друг у друга. Мы толком не знаем, кто из нас стукач. Двое из троих могли подумать, что это я. И так как я привык доверять большинству, я тоже начинаю подумывать, что это я.

Я пошел в туалет. Он был огромен и совершенно лишен уединения. Большой зал с кафельным полом и никаких перегородок. Три унитаза, три писсуара, три душа. Горячей воды не было. Голый профессор стоял под холодным душем и брился без зеркала. Лицо его было в мыльной пене. Профессор сказал, что он пойдет «на пиво». Он мне как будто доложил, что собирается делать. Он думал, видимо, что я стукач.

Я вернулся в класс. Гриша чинно сидел на кровати, положив руки на колени. На нем был черный костюм и синий галстук. Я тоже сел на кровать и сказал, что профессор пойдет «на пиво». И тут же понял, что вот я уже и стукач.

Мы с Гришей Хайченко вышли из школы и очень быстро пошли в лес. Лес был чешский – чистый, прозрачный. На полянке мы сели на пенки и перевели дыхание. До входа наших танков в Прагу оставалось целых двенадцать дней.

Мы этого не знали. Мы не знали еще, что мы узнаем о нашей ошибке – никто из нас стукачом не был. Стукачей хватало без нас. Мы были маленькой случайностью в большой путанице.

От фестиваля в памяти остались кипучая, творчески и сексуально озабоченная молодежь со всего света с ее неумелыми спектаклями, местный конкурс красоты, где я был членом жюри и с удовольствием разглядывал красавиц, претендующих на звание «Мисс Северная Чехия», и пиво – слишком холодное и слишком вкусное, чтобы можно было остановиться на одном и даже на двух литрах после обеда. Мирная летняя лесная сторона. Сюда, кажется, и газеты не доходили. Правда, появился из Праги озабоченный председатель Общества чешско-советской дружбы и все говорил нервно: «Где доты? Где дзоты? Где укрепления? Какие свастикки на домах? Вы видели их? Это же провокация! Это нарочно кто-то нагнетает».

Мы гуляли с нашими замечательными подругами и переводчицами Аленой Моравковой и Мишей Сухаржиновой, пили вино, дышали лесным воздухом и как-то стали забывать и о Праге, и о Москве. Владимир Браунер, наш дорогой пан профессор, политических разговоров сторонился. Он прожил трудную и, судя по всему, лихую жизнь. Был послом в Эфиопии при Массарике, работал в МИДе. В годы социалистического террора этот блестяще образованный историк и полиглот просто спрятался (так я думаю) в пыльных архивах Страгова монастыря, чтобы там попивать и помалкивать. Теперь он разглядывал происходящие перемены с несомненным сочувствием, но и с большой осторожностью.

«За свободу надо платить!» – эта фраза, произнесенная им несколько раз, была серьезным предостережением, и лишь позднее я смог вполне ее оценить.

Фестиваль кончился. Мы вернулись в Прагу. Мы снова жили в огромном Палас-отеле. Последние дни лета, дни прощания. И мы пели нашим переводчицам тут же сочиненную песенку:

Пани, подружки наши,
Пани, не надо слов.
Нежно вам ручкой машем.
Пани, *na shledanou!*¹

20 августа меня на улице окликнули из машины. Я обернулся. Бог ты мой, начались чудеса совпадений этого дня. За рулем сидел Михаил Абрамович Швейцер. Рядом Соня Милькина, его жена и соратник во всех фильмах.

¹ До свидания! (чешск.)

Какими судьбами? – А вы? – Где живете? – Когда домой? – Как наш «Теленок», в смысле «Золотой»? – Что делаете сегодня вечером?

Договорились идти вместе на вечерний сеанс смотреть фильм «Пожар, моя милая!» Милоша Формана.

Пришел в гостиницу – телефонный звонок. Алена Моравкова зовет сегодня вечером к себе – она закончила перевод «Мастера и Маргариты» и сегодня получила подтверждение, что он идет в печать. И сегодня (всё сегодня же, 20 августа!) в Прагу приехала Елена Сергеевна Булгакова – она, несравненная, с которой и написана Маргарита. И она будет вечером у Алены. И хочет меня видеть.

Мы с Еленой Сергеевной знакомы уже несколько лет. С тех пор как я (первым, наверное) исполнил Булгакова по телевидению – отрывки из романа «Мольер». Елена Сергеевна пригласила, и я побывал у нее дома раз и два – там, у Никитских ворот.

Да-а! Ну и вечер намечается у нас сегодня, 20 августа 1968 года, в городе Праге! Смотрели фильм Формана и хохотали. Поднимали рюмки в память Булгакова и в честь Елены Сергеевны на Винарской улочке дома у Алены. Вполпьяна усаживали Елену Сергеевну с сестрой в такси и договаривались повидаться завтра. Твердо запомнили и много раз повторили, чтобы не забыть, название гостиницы, в которой они с сестрой остановились, и тут же забыли. Снова пили – за Алену, за Мастера, за Маргариту, за пражскую весну! Мощно ревели самолеты за окном. И что-то слишком часто.

– Что происходит, Алена? Это у тебя всегда так?

– У нас аэродром недалеко. Так что бывает...

– Ну то-то! А то прямо как война. Ну-ка, давай споем Окуджаву. Где гитара? Начали:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки.
Вы знаете, куда они глядят.

– Да что ж такое – опять самолет! И совсем рядом, как будто сейчас в окно влетит. Ладно, пора домой двигаться. Ну что, Гриша, пешком или такси вызовем? А у вас тут сложно взять такси прямо на улице? Что такое, опять самолет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.